

Татьяна Соколова

Золотой мальчик, золотая девочка

Повесть о счастье

...Очевидно, так должно быть — чем дальше, тем больше — кажется мне, что всё это бывшее было совсем не со мною. По крайней мере, я в нём не участвовала. А, может, всего этого не было вовсе. Хотя — все, кто участвовал, говорят — было — только не так, или не совсем так, или не так совсем.

Но это — конечно — это банально — каждому видеть всё по-иному — а мне всё чаще хочется и вовсе не бывшего...

Дворник (монолог)

...Каждое утро, ровно в шесть, ни минутой раньше или позднее:

— ...Так-так! Так-так!

— Скрр-скр-р! Скрр-скрр!

— Шыы-ы-рк!

Откуда он взялся?

Был хороший типический дворник — не приметный, «не видно — не слышно»,

швыркающий острым красненьким носиком, в куцей пятнистой штормовочке и такой же кепке.

Я смотрела из окна моей гостиной, как у соседнего дома в утренних сумерках безмолвный ветер элегически — будто одинокую ветлу на высоком угоре — раскачивает его длинную, держащуюся за метлу фигуру.

Я смотрела — и мне становилось теплее в моей маленькой прохладной квартире, в нашем день ото дня холодеющем мире.

И вот, кажется, уже по осени...

Да, именно по осени — я не сразу догадалась — как это так совпало?

По осени со мной стало происходить то, чего в реальности быть не может. Вернее так — в мою реальность вошло что-то ей совершенно не нужное и не столько даже бесполезное, сколько вредное.

Конечно, у меня довольно нетривиальное понятие о реальности — она вовсе не состоит из одного видимого нами мира, но органично включает в себя и мир невидимый.

Особенно важно, что невидимую реальность физическим зрением мы видеть не можем — это закон. Всё остальное — те или иные отклонения от него, всяческие ясновидения и прочая паранормалика — возможны, но бесполезны, а порой и смертельно опасны для человека.

Так вот — однажды мне показалось, что за

мной кто-то наблюдает. Ну, так, ни с того, ни с сего — иду по улице и вдруг чувствую на себе чей-то пристальный взгляд — замираю, оглядываюсь — никого.

Так и должно быть — никого — теперь люди ходят даже в толпе словно бы в пустоте. Особенно чувствуешь это в столицах и мегаполисах — чем ближе к центру — тем заметнее.

В маленьких городках тысяч до ста — та же картина, смягченная разве тем, что многие знают друг друга. Но к незнакомцам и в маленьких городках реакция год от года типичнее — от пустоты к пустоте.

А тут этот взгляд в спину.

Ну, что же — рельсы по привычке на себя перевела — может, каракульчу рано надела — мех, даже тонкий, у многих ассоциируется только с зимой — или сумка моя новая от Шанель кому-то приглянулась — ладно.

Однако взгляд не исчезает, нет-нет да опять, будто стёклышком острым, через лопатку, в сердце кольнёт — и не то чтобы тревожит, но неприятно за себя — закоренелую реалистку.

Тут необходимо добавить, что реалистка эта ко всяческим взглядам давно привыкла и умеет отличать взгляд случайный от взгляда любопытствующего, взгляд слезки от взгляда изучающего, даже испытующего.

Серьёзных источников последнего в заштатном этом городке никак в отношении моей персоны быть не могло.

И примерно в то же время — последовательности я не фиксировала — тот неприметный дворник от соседнего дома незаметно исчез, а на его месте появился новый, будто впервые до работы дорвавшийся.

Сначала я смотрела на него из окна моей гостиной без гостей по привычке — дворник и дворник — какое мне дело? Очень настоящий, без всяких привычных мне киношных придурств или конторских закосов.

Ну, рьяный чересчур, чрезмерно старательный — никакой в нём элегичности, от близости с природой задумчивости, привычных для дворника пролетарских манер — вы когда-нибудь видели дворника с носовым платком?

Да мне-то что? Пусть.

Однако с наступлением зимы стал он меня несколько утомлять — шуму от него до моего окна долетало больше, чем от того дворника, что работает у нашего дома.

Вот и теперь — лишь начало седьмого — он уже долбит, скребёт и метёт. Конечно, у каждого своя функция. Как писал из лагеря Никон Оптинский — «Радости моей нет предела».

Потому что утро, несмотря ни на что, дивное

— тихое, синее. Видимое из окна моей гостиной, замкнутое между двумя пятиэтажными домами пространство похоже на вольно разросшийся сад.

Чёрная графика кустов и деревьев, невообразимой формы веток — на белом, пушистом, воздушном, вздыбленном волнами скрытых под ним высоких пней снегу.

В ста тёмных метрах, через этот сад — фонарь на вершине матово белеющего в темноте бетонного столба.

Сам эллипс белого света от фонаря не виден. Конус освещенного им пространства направлен к дому напротив, рассеян.

В центре светового конуса, внизу, между узенькой мостовой и серым домом — тротуар перпендикуляром к подъездной двери.

Алый крошечный уголёк сигнализации на этой двери мелко-мелко дрожит, кажется суевливым, зловещим, несчастным. Несчастен он словно бы оттого, что слишком маленький и не может сделать такую большую злобу, какую ему бы хотелось.

В этом же конусе новый дворник долбит чугунным ломом, скребёт железной совковой лопатой и синтетической жёлтой метлой до последней льдинки выметает с тротуара добытое ломом и лопатой крошево.

Широкий щербатый тротуар между двумя

забранными в низенькие ажурные решетки газонами после его ударной работы девственно чернеет.

И падает снег!

Идёт конец ноября и падает снег.

В тёмном воздухе падающего снега не видно. Словно бы нет его и в светлом конусе, освещающем часть двора. И только там, где свет выходит из абажура фонаря, в маленьком, буквально на полметра, полутёмном эллипсе, снег падает.

Каждый раз по-иному. То — крупными хлопьями — валится, танцует, проносится — и даже иногда в задумчивости как бы останавливается. Мелким сечивом, сырым и серым — обрушивается, сечёт, рубит плотный воздух. А бывают ещё шарики — белые, шершавые, плотненькие зёрнышки небесного пшена — сыплются мягко, пушисто, благодатно.

В тишине тёмного ноябрьского утра падающий снег кажется единственным живым существом — дышащим, изящным, настоящим, которое никогда не спит, лишь проявляется, когда считает необходимым.

А новому дворнику всё нипочём — долбит, скребёт, метёт. Неужели ему недоступна никакая красота?

Да, мне вчера сказали, что бывают люди, которым изначально недоступна никакая красота —

у них просто нет эстетического чувства.

Не думаю, что это возможно...

Оранжевое (дневник)

...А что я мог?

Она стояла в окне как на картине. Окно оранжевое, ярко освещённое, на первом этаже. Откуда она, такая, взялась? Только одно мне и хотелось спросить у неё, сразу — глупое, бессмысленное, бесполезное — откуда она такая взялась.

Но я и спросить не мог — кажется, в первое же мгновенье, как увидел её, сразу замер, затих и словно бы умер.

Нет, не сразу.

Сначала я просто удивился этому кухонному окну. Как можно так жить, когда столько оранжевого? Обои белые, конечно, в мелкий оранжевый цветочек. А всё остальное — шкафы, абажур, прозрачные шторы, какие-то вазы, даже холодильник и лампочка в абажуре — оранжевые!

Не скажешь, что пёстро иль дико, но — нетипично, странно и — зачем?

Тогда я посмотрел на неё. Просто женщина. Самая обыкновенная. Не молодая, не старая, не высокая, не маленькая, не толстая, не худая. В чём-то цветастом. Волосы на прямой пробор, и две

тоненьких косы за плечи откинута.

Просто стоит женщина у окна своей кухни и смотрит на улицу. И больше ничего. Её ведь дело, что всё вокруг неё оранжевое.

Но как-то так она — красиво, что ли, стоит, и ещё — будто вокруг неё никого во всём мире абсолютно нет. Более того — быть не может.

Вот поправила правую косу. Руки на груди сложила. Плечами повела как-то так, важно, что ли, красиво опять же. Полуобернулась вправо.

Как немое кино. Стою, как дурак. Смотрю. Лавочка рядом. Сел, закурил. От окна до меня метров пятьдесят — через газон, мостовую, детскую площадку — скамейка об одну доску на двух чурбаках, под могучей, ровесницей мне, ёлкой. Сижу, о своём размышлять стараюсь.

Осенью дворником наниматься не выгодно. Павший лист прошёл — грязь настала — пойдешь, из неё мусор повыковыривай. А потом, конечно, снег — главная работа дворника на пятьдесят восьмой параллели. Потому мне место сразу и нашлось — умники на зиму в вахтёры да в охранники идут.

Сижу, курю — участок осмотрел, завтра с утра приступаю. Домой неохота — хоть дома порядок, да жена дело всегда найдёт — не посидишь у неё, не помечтаешь, ни в телевизор, ни в компьютер раньше ужина не заглянешь. Хоть и мечтать уже не о чём, всё уж случилось — хороший

дом, хорошая жена, любимая машина, приличный катер, дети, внуки, пенсия.

Да вечер случился какой-то очень хороший! Странно хороший случился вечер среди моей многомесячной хандры — тихий, тёплый, как летний, как бы светом из чужой оранжевой кухни освещённый.

Сто лет уж так нигде не бывал — один, в чужом дворе, просто так.

Женщина в оранжевом окне над столом склонилась, ужин, наверно, готовит. Почему-то шторы не задёргивает. А и нет у неё шторок, смотрю, только поверху окна оранжевый тюль с оранжевыми же цветами — точно, ей до окружающего её мира никакого дела нет.

Маленькая кухня как на ладони. Если прохаживаться вдоль скамейки — всю кухню и видно.

Только мне это зачем?

Мне это зачем — серьёзному мужчине шестидесяти лет, недавнему ведущему энергетика крупнейшей в Европе ГРЭС, решившему из чудачества попробовать себя в простых дворниках — сидеть в чужом дворе и пялиться на чужое окно — пусть и оранжевое?

Волнение какое-то странное в себе заметил. Мысли куда-то не туда пошли — будто вовсе не я на скамейке сижу, а пацан молоденький — ни

седины у него, ни бороды, ни десятков лет за плечами — и вообще у него ничего ещё нету.

И всего, что у него, вроде бы, было, на самом деле не было, так, приблизилось оно ему, примечталось — вернее, явилось без приглашения и без прощания ушло.

И это волнение как бы во мне, но от меня отдельно, и управлять я им не могу. И главное — не хочется ни им, ни собой управлять, потому что, кто я такой, я не знаю.

Просто сижу, как дурак. Окно уж погасло. Докурил, встал и домой пошёл.

Что-то было в этой женщине. В руках что ли, в движениях. Как-то правой кистью она так поводила, что это было на что-то такое, необъяснимое, на слова, что ли, похожее.

Слова ласковые, нежные, капризные и молодые...

Дождь (полотно)

... Слова о чём, или про что?

Когда август тысяча девятьсот семьдесят третьего года, будто самый осенний сентябрь. Третью неделю не видно солнца, дни похожи на вечера, а вечера — на одну сплошную, непонятно отчего тревожную, обманно мягкую, реально ветреную и бесконечно дождливую ночь.

Дождь льёт и льёт, и никуда от него не деться. Кажется, капли его — мокрые, маленькие, серые, вёрткие букашки — проникли в человечьи землянки, дворцы и дома, размочили до хлипкой кашицы каждое дерево и травинку.

Самых терпеливых и смиренных животных эти капли превратили в затаившихся в непредсказуемой злобе зверей, людей сделали совершенно бесцельными и ужасно одинокими — до настоящего ужаса, когда внутри, кроме пустоты, ничего в человеке нет!

Конечно! Ведь одиночество не одинокость, при которой вокруг тебя просто нет необходимых тебе людей, или нет у тебя пары в этой жизни, или нет у тебя родных, или даже тех, кто хоть немного понимает тебя.

Одиночество — это когда бесцельность и пустота внутри тебя.

Когда никто и ничто не живёт в твоём сердце — такое — тайное, высокое и великое, ради которого можно перенести всё, которым всегда можно утешиться, укрыться вместе с ним в сердце своём от врагов, переждать внешнюю непогоду и даже радоваться, «внегда смущается земля и прелагаются горы в сердца морская».

Хотя, может, оно там всё-таки живёт? А ты не умеешь его услышать?

Так совпало в том августе. Так должно было

зачем-то совпасть — дождь и принимаемое за одиночество.

Главной общей цели — учиться в школе — больше нет. И конкретно они — восемь человек — будто карандаши из картонной коробки, уже словно бы роково рассыпавшиеся каждый по одному. Или абстрактно — карандаши пока в коробке, но сама коробка валяется бесхозно на невидимом краю, на обрыве — вот-вот налетит штормовой ветер и сбросит ненароком коробку в бушующий внизу океан.

Остались считанные дни, и все разъедутся по городам — снова учиться — остаться в селе не хочет никто — почему, непонятно, неинтересно — уехать надо обязательно.

И вот глупость какая — каждый вечер, в течение двух недель, в мокрых сумерках, почти в темноте, собираются на старой школьной веранде — хоть видимо побыть ещё немного вместе, будто никакой высшей цели и радостного единства не потеряно.

Геля, Александра, Ниночка, Галина. Георгий, Володька, Дан и Казимир. Компания не вся, почти половина уже разъехалась.

Но и оставшаяся — закадычная, сросшаяся до того, что называет друг друга по именам и прозвищам, а не фамилиям, как принято в школе.

Александра — чаще — Санька. Георгий —

Гера, Георг — ни в коем случае Жорж или Жора. У Володьки прозвище от фамилии Бутерус — Бут или Бутик, Даниил — Дан, Данчик, Казимир — Каз или Казик. Геля и Ниночка — именно так, без вариантов. Галина, как исключение, строго по фамилии — Голобродова.

Поодиночке или мелкими компашками к закадычной восьмёрке каждый вечер присоединяются разные два-три-четыре человека.

Не курят, не пьют, не матерятся и даже семечек не лузгают. Курение, алкоголь и мат при общем сборе компании не приняты — собираясь без девчонок, мальчишки этими взрослыми штуками балуются, иногда допуская в свой круг Саньку.

Семечки презираются абсолютно, жёстко и коллективно, как «деревня», или «отстой», по терминологии их будущих внуков.

Курящие мальчишки из восьмёрки и примкнувшие к ним время от времени покидают веранду и скрываются в хлюпающей неперестающим дождём темноте школьного сада. Возвращаются в ароматах дешёвого чаще всего табака, несколько смущенные, старающиеся смущения не показать.

Свобода, почти абсолютная, после школы, наконец, наступила — они пока не привыкли к ней — открыто закурить при взрослом человеке или

девчонке теперь можно — радости от процесса нет — дурацкая неловкость, стыдливость как драгоценный атавизм, который позже предстоит изжить, пока продолжает сковывать.

Сад размером с полгектара почти в центре села, сразу за огромной бывшей церковью — сирени, черёмухи, акации, клёны и небольшой огород в нём — примыкает к трём школьным зданиям — толстостенным каменным постройкам середины девятнадцатого века. В одном из зданий первоначально было волостное правление с кутузкой, в которой останавливали на ночлег шествующих в Сибирь арестантов.

Главная аллея школьного сада шириной сорок метров и пятьсот в длину с двухрядными посадками акаций по бокам расположена на участке пролежавшего здесь сто лет назад Сибирского тракта, после строительства Транссиба сместившегося на десять километров к югу.

Ничего этого — неприкаянная, после выпускного вечера как бы потерявшая землю под ногами, наизусть знакомая друг с другом, теперь друг другу словно чужая, стайка недавних десятиклассников — не знает.

Им превосходно, в концепциях и деталях, рассказана всемирная история и история России как череда всяческих революций и постоянного угнетения трудящегося народа.

Они приготовлены для великих дел и мечтают о как можно более далёких дальних странах.

Революционная, а вместе с нею и вся прочая история родного, знакомого, которое рядом и вокруг, кажется им привычной, скучной и абсолютно неинтересной, хотя никто им не внушал, что это именно так.

Откуда взялась эта «химия» даже и презрения к своему и родному, непонятно и неизвестно никому из них — никто из них об этом совершенно не размышляет — всё происходит на уровне ощущения, подсознания и некоей неизменной данности.

Хотя данность эта, как всё нетривиальное, проста.

Всё обозримое, доступное, окружающее, земное, здешнее кажется русскому человеку мелочью и даже ничем по сравнению с тем огромным, невместимым, неизвестным, далёким, высоким и непостижимым, которое находится где-то невообразимо далеко, для достижения которого необходимо совершить какие-то великие дела и освоить не виданные прежде дальние страны.

Когда-то эти дальние страны простирались необозримо далеко и высоко — аж до Царствия Небесного. И хотя в двадцатом веке эти страны ограничились лишь горизонтальной плоскостью, силы своего притяжения не потеряли, напротив —

общедоступностью своей превратились для многих порой и в наваждение.

Скоро! Теперь совсем уж скоро!

А пока — будто последняя минута — дощатая веранда, покрытая облупившейся салатовой краской, слегка украшенная по арке карниза самой простой резьбой — словно ветхий плот, с которого предстоит броситься в тот самый океан тех дальних стран.

Веранда стоит метрах в двадцати от главной аллеи школьного сада — Сибирского тракта — и предназначена для малышей до восьмого класса, летом работающих на расположенном поблизости школьном огороде.

На веранде около шести вечера тёмным дождливым августом выпускная стайка лишь собирается — перебрасывается последними сельскими и личными новостями, ждёт около часа непонятно чего.

Два-три человека мусолят какую-нибудь всем надоевшую тему — остальные вставляют короткие реплики. Потом так же бесцельно почти до полуночи бродят по селу, от одной свободной для них крыши до другой, под неостановимым дождём.

Сегодня на веранде они несколько задержались — растерянности в мокром воздухе с каждым вечером, с каждым уехавшим больше — каждый вечер в принципе может быть последним

— встреч на завтра никто для себя не планирует и друг другу не обещает.

— Вот это совершенная ерунда! — холодно и сухо восклицает Санька — похожая на мальчика, длинноногая, худая, в круглых очках, с тёмно-русскими короткими кудряшками на маленькой голове. — Череп не может быть с волосами. Мозги включи.

Характером — решительным, даже резким — Санька тоже больше похожа на мальчика. В начале выпускного класса она на спор обрила голову под ноль и месяца три ходила в школу в завязанном на затылке белом с мелкими чёрными точками ситцевом старушечьем платке.

Отец Саньки — председатель колхоза, мать домохозяйка. Завтра Санька едет учиться в Новосибирский университет на что-то физико-математическое.

Разговор сегодня, как обычно, начал Даниил — Дан, Данчик — среднего роста ладный мальчик с правильными чертами красивого лица.

Лицо Данчика было бы даже слащавым, если б не твёрдые, хотя подвижные, чутко выражающие настроение даже при молчании губы, тяжёлый волевой подбородок к ним и всегда неожиданно режущий, пронзительной синевы, из-под опущенных длинными ресницами глаз, взгляд.

Дан в компании теперь как бы гость. Его отца,

командовавшего расположенной в пяти километрах от села воинской частью, два года назад перевели во Владивосток.

Второе лето Дан приезжает в село на каникулы и поражает бывших одноклассников свободными манерами, разговором, что называется, через губу и неслыханной здесь, в глубине России, в самом начале Западно-Сибирской низменности, «забугорной» информацией от якобы знакомых ему дальневосточных моряков.

Сегодня Дан удивил всех местной историей. Он рассказал о том, как при строительстве рядом с огромным каменным зданием бывшей церкви, а теперь — основным учебно-административным корпусом профтехучилища, который в селе так и называют «Основное» — дома культуры — было выкопано несколько поповских черепов с длинными волосами.

— Оно, конечно, — Дан отвечает Саньке снисходительно, выделяя «о», насмешливо сдвигая нижнюю губу вниз и влево. — Кто не видал — тот не слышал. Но один из них мы с пацанами пасовали. Так, Жорик? Вот этой самой ногой.

Он явно вызывающе называет школьного друга именем, которое тот не переносит, и вытягивает перед компанией ногу в шикарном разноцветном кроссовке.

Что уж говорить о джинсах Дана, которые не

просто «отпад», но и «умереть — не встать»!

Намеренное «о» и лысая голова Данчика, выбритая ещё как-то и полосками — это нынче. В прошлом году он был не менее шикарен — золотые кудри ниже плеч и «а» покруче московского, когда в селе речь правильная, без педалирования звуков и почти без регионализмов.

— Да отпасть твоей ноге. — Санька возражает Дану так же ровно, без эмоций, и все понимают, что продолжения темы не будет, хотя религия и то, что Санька до сих пор является неформальным вожаком компании, здесь ни при чём.

О религии в компании не говорит никто и никогда — никакого Бога не существует даже в принципе допущения. Санька вожак не потому, что её отец председатель — а по характеру и просто так сложилось. И теперь просто льёт дождь — всем тоскливо, скучно, тревожно и без черепов страшно.

Как это? Ничего, из того что было, больше не будет, а будет что-то неизвестное, непонятное, которое, конечно, зовёт и даже манит. Но и пугает, и не чем-то конкретным, а именно не осознаваемой, почти на уровне инстинкта, пустотой.

Можно нарисовать себе абстрактные картинки ждущих тебя совсем скоро красивых больших городов, блестящих личных успехов, новых верных, интересных и умных, не то, что эти, рядом, почти уже никакие, друзей. Можно даже любовь

придумать — киношных красавцев и красавиц рядом с собой нарисовать.

Можно — но — когда идёт такой дождь, и холодно, и сыро, а дома сидеть и вовсе невозможно от объявшей весь мир, пронзившей его до последней молекулы тоски — самые лучшие и яркие рисунки размываются, смешиваются в грязное месиво, которое липко стекает с самой прочной бумаги, тут же превращая в ничто и саму бумагу.

— Данчик, но как же так? — Тему бездумно продолжает Ниночка, милая девочка с круглым, несколько плоским лицом, носиком лисички на нём и тяжело лежащей на покато левом плечике толстенной и длинной русой косой. — Это же был человек.

Тоненькие губки Ниночки всегда как бы улыбаются, удлинённые глазки чуть прищурены.

Мама Ниночки, преподаватель профтехучилища, приехала в село несколько лет назад и привезла с собою сразу три свои очаровательные копии, среди которых Ниночка — средняя. Отец Ниночки — какой-то начальник в районном городке, приезжает в село нечасто, обходит сначала своих закадычных друзей, потом коротко навещает великолепное семейство.

Сегодня среда, а в воскресенье Ниночка едет учиться в наименее престижный, часто и с

недобором абитуриентов, сельхозинститут — необходимым для учебы в другом вузе абстрактным интеллектом, как и большинство подобных девочек, Ниночка не обладает.

Конечно, ей никто не отвечает — тихого очарования таких милых девочек ровесники не замечают — они вспоминают о нём много лет спустя.

Но кроткая Ниночка никогда и не ждёт ответа.

Ответа ждёт Геля, невысокая худенькая девочка — неуловимыми для описания чертами, густой, врастопырку, копной золотисто-каштановых непокорных волос похожая на горестно задумчивую птичку.

Геля всегда почти сидит, чуть нахохлившись, где-нибудь с краешку и незаметно для всех внимательно за всеми наблюдает.

В неподвижности серенькая, даже блёклая, порой она неожиданно и почти буквально как бы вспыхивает — и на её месте мгновенно оказывается абсолютно другой человек.

Это может быть яркая цыганистая красавица — или томная, в полутонах, прелестница — или готовая подняться на эшафот огненная воительница — образы бесконечны.

Нельзя сказать, что в эти мгновенья девочка играет какую-то пришедшую ей в голову роль, настолько естественно, в соответствии с образом,

меняется при этом вся её внешность.

От прежней Гели остаётся лишь характерный, волнующий, притягивающий взгляд овал лица, который, собственно, лицо и формирует.

Само худенькое скуластое лицо с чуть вздёрнутым носиком, круглыми, цвета лёгкого зелёного чая глазами и чётко очерченными, похожими на две очищенные дольки красного мандарина губами — всё это совсем бледнеет, тускнеет и отступает на невидимый совершенно план.

В окружении чарующего овала лица девочки — проступают сила, энергия, страсть — то, чего реально нельзя зафиксировать — увидеть, услышать, потрогать — они выходят вперёд, возможно, прежде её желания и даже помимо её воли — и берут слушателей и зрителей в такой неожиданный для них плен, что те необъяснимо для себя замирают.

Она же при этом начинает ещё говорить и жестикулировать!

Руки девочки взлетают, обрываются, парят, а то и безжалостно и даже кроваво режут словно бы обретший плоть воздух.

Речь её — без рифмы, но ритмизованная в зависимости от текста, как дыхание — чередуясь ямбами, хорейми, дактилями и прочими амфибрахиями — ласкает, заманивает, убивает,

уничтожает в прах, чтоб тут же пожалеть и возродить невольных участников действия несказанной нежностью и любовью!

Впрочем, все эти детали сверстникам непонятны и вряд ли интересны. Они в такие минуты только смотрят на Гелю, не отрывая глаз, не понимая, что такое с нею и с ними в данный момент происходит, и после ещё некоторое время в растерянности молчат.

Геля, как и Дан, не очень типичный представитель выпускной компании. Она девочка городская, из Омска, жила в селе у бабушки и деда, пока родители работали в Германии, училась в сельской школе до пятого класса, потом проводила в селе все каникулы. Послезавтра Геля, не заезжая в Омск, едет учиться на журфак МГУ.

Сейчас она молчит и ждёт ответа, хотя толком не знает, в чём ответ, который, к тому же, за ней. Ведь когда он спросил её вчера, уже наедине и после полуночи:

— Ты позволишь мне это, счастье?

И остановился, и коснулся её зябнущих кончиков пальцев сухими твёрдыми губами:

— Рассказать всем, как я люблю тебя?

Она промолчала.

— Так будет лучше. — Уже знакомо, хоть всякий раз неповторимо, спрятал её руки в своих.

Она тихонько рассмеялась:

— Кому?

— Всем, счастье...

Она знает — это правда. Теперь уж всё почти решено. Этим днём всё и решилось. Он помог ей своим молчанием — и она всё решила, до конца, без вариантов.

Ни в этом, ни в каком другом мире теперь нет такой силы, которая могла бы оттянуть их друг от друга, даже если они не рядом, даже если они умрут, пусть где-нибудь и на разных концах Земли.

Без всяких слов, взглядов и даже вздохов сразу и навсегда им однажды стало понятно — они — одно существо. Так будет всегда.

Так всегда и было, просто они не сразу узнали про это — ходили рядом, разговаривали, спорили, одни раз даже подрались — пока не пришло это — каждому из них лучше не быть совсем, исчезнуть, сгореть, чем потерять другого.

Теперь он молчит. Даже если он говорит с другими, с ней он молчит. Это его молчание с нею волнует её сильнее и дороже ей всяких слов. Она не смотрит на него.

Она всегда чувствует, когда он рядом или хотя бы приближается к ней, когда он входит в пространство, например, её дома или когда удаляется от этого пространства.

Она чувствует само то пространство, в котором он находится.

Его самого она чувствует как некое пространство, заключённое в оболочку его тела.

Его тело, как и её — волосы, глаза, руки, сам физический образ, до которого можно дотронуться — лишь проводник, которым им предстоит всегда быть друг в друге.

Ведь в том ещё дело, что два их пространства, его и её, состоят из одного вещества — летуче-эфирного, прохладно-сладкого, самых утончённых, до прозрачности, пастельных тонов. Не придумано слов, чтоб хотя бы приблизительно описать это вещество, а, может, даже Существо — такое оно чудесное, одинаковое во всех людях, неповторимое ни в ком из них!

Вот уже второй год ей кажется, что все люди знают об этом её открытии, что только этим все они живут.

А это значит, что все люди всегда и везде влюблены друг в друга!

Даже теперь, в этом нудном дожде, даже они, несколько человек, друг другу надоевшие, необъяснимо грустные, ни с чего вдруг растерявшиеся — давно и окончательно влюблены друг в друга.

И все они счастливы, очень счастливы, только не знают об этом!

Не знают, не умеют или не могут показать своего счастья.

Да, собственного счастья не нужно, а порой и нельзя показывать.

А если оно всё же вырвется, разорвав обычаи, нравы, а порой и простую порядочность, лучше скрыть его, затолкав опять под молчание и лёгкую, ничего не обозначающую улыбку.

Впрочем, все люди свободны, пусть они живут, как хотят, её это больше не касается — она банально, она очень счастлива — он рядом.

Она счастлива всегда, рядом он или очень далеко, молчит или говорит глупости — ему нравится прятаться за глупости и пустоту. Она знает, что он счастлив в ней тем же.

— Человек, конечно. — Неожиданно и несколько запоздало на слова Ниночки откликается Георг — высокий, необычной для этих мест красоты, матово-смуглый мальчик с тёмными волнистыми локонами по широко развёрнутому плечам. — Дед чей-нибудь или прадед. Ты бы стал череп прадеда своего пинать?

Своё участие в кощунстве Георг даже не намерен обсуждать, — настолько обвинение друга для него и окружающих нелепо. Его атлетическая от природы фигура заметно напряжена, ноздри идеальной лепки носа гневно раздуты.

Кажется, если б не дождь, большие яркие глаза Георга испепелили бы вызывающе спокойного Дана — а, может, напротив, именно

влажный воздух этого вечера особенно опасен — так велико электрическое напряжение, скопившееся в глазах Георга.

Родители его преподают в сельской школе. Светлая тихая, с пепельно-русой косой ниже пояса мама — литературу и русский язык. Отец, Георгий Георгиевич, огненный красавец, пьяница и гуляка, мнящий себя художником, как бы рано увядший портрет расцветающего сына — рисование и черчение.

Мальчики, с такой идеальной внешностью, как у Георга, обычно рано портятся от зазнайства. Георг в раннем детстве случайно попал из рогатки в глаз младшему брату — он всегда сдержан, острожен, часто молчалив.

Первая учительница Анна Петровна называла Георга — золотой мальчик.

Золотой девочкой она называла Гелю.

За отличные отметки и примерное поведение...

Каприз (монолог)

...Каждое утро, как в детстве, должно быть праздником — слава Тебе, Господи, ещё один день подарил!

Просыпаюсь — мозг включается словно бы нехотя, до пробуждения — в тревоге, раздражении

и страхе. Про себя, не я, мозг читает, что ему на ум придёт — псалмы, какие знает, молитвы, какие вспомнятся. Или просто повторяет — торопливо, бессмысленно, будто бесконечный беспомощный вопль — Господи, Господи, Господи...

Нет, это уже не ум — это сердце пёрышками встряхнуло, затрепетало, заохало.

В природе не бывает абсолютной темноты. Там, где человек — тем более. Даже южные ночи густы и темны обманно — деревья, травы и цветы дают свой свет, надобно только взглядеться.

Свет обыкновенного человека для обыкновенного человека чаще незрим — его можно услышать, почувствовать, ощутить — более точного глагола для этого чувства нет.

Я стараюсь полюбить эту маленькую квартиру в этом маленьком, сельском совсем городке, дальнейшее наследство мужа, открывшееся для меня случайно.

Я так люблю всякие случайности!

Мы просто поехали однажды — прогуляться, по этим северным почти местам, где лет двадцать назад, несмотря на гибнущую страну и страдающий от безысходности народ, были счастливы.

Что делать — почти всю жизнь, в покое или тревоге, вместе или врозь, мы были с ним очень счастливы!

Мы ехали в машине вдвоём, очень медленно,

по относительно хорошо сохранившемся после катка перестройки случайно встретившемся на пути районному городку, мимо серенькой пятиэтажки, по тихому дворику.

И муж, не похоже на него, серьёзно и даже грустно, сказал:

— Вот здесь, надо продать, маленькая «брежневка» от маминой двоюродной сестры, мама как-то меня к ней привозила — узнал это место — старею.

Конечно, пора бы мне знать — никаких случайностей у моего мужа никогда не бывает. Я и знаю — циничным своим рассудком, но глупое страстное сердце моё от всяких случайностей всегда зачем-то сентиментально вспыхивает — волнуется, бросается в детскую панику иль дико радуется, непонятно чему.

Вдоволь от всяких случайностей натерпевшись, я иррационально продолжаю любить их и затаённо ждать, зная, что в каждой — либо легко и ласково коснувшаяся тебя милость Божия, либо вражеская петелька, которую надо внимательно рассмотреть, прежде чем к ней прикоснуться.

Но какая петелька могла быть в этом безобидном уютном городке — я всегда мечтала хоть немного пожить именно в таком!

— Я хочу здесь остаться! — сразу сказала

я. — В этом простом пятиэтажном доме! Я никогда ещё не жила в таких домах. В самой простой квартирке на первом этаже я буду словно бы в сельском домике, никому не видимом, скрытом среди других квартир, дверей и окон.

— Крайне странно, — ответил муж. — Неделю всё равно придётся подождать, то сё, ремонт, безопасность.

Ему нравятся мои капризы, он считает — женщина без них уж не женщина — сам капризничает редко, лишь когда болеет — тогда я сижу возле его одра, не отлучаясь, и опрометью бросаюсь исполнять каждое нарочно придуманное им именно для этого мелкое пожелание.

Так счастлива, глупа, не креативна и потому не модна наша с ним от всех скрываемая очень личная жизнь.

Например, теперь модно жить на несколько домов, городов или даже стран. А я не могу, не умею. Никогда не могла, не умела.

Никогда не умела полюбить даже единственный дом, в котором жила, который обустроивала до последней чёрточки, наполняя всей доступной мне красотой.

Каждый новый устроенный мною дом, как прожитая жизнь, сразу становился, как бы, не моим, временным, не тем, не любимым, и я перебиралась в следующий.

А люблю я темноту.

Она уютна, мягка, с нею можно разговаривать. Хорошо ходить в ней, нащупывая босыми ступнями ласковую негу шерстяных ковров, гладкое дерево прохладного голого пола, мягкие рёбрышки домотканых холстяных половиков, колющую жёсткость джутовой циновки в прихожей.

В темноте, слева слегка подсвеченной круглым оранжевым шариком, перебивающим синеву маленького настольного экрана, так легко, радостно и красиво ткётся моё серенькое словесное полотно — кажется, в этом ткачестве, в просторечии называемом писательством, и состоит моя главная жизнь.

Хотя, конечно же, нет и нет! — а в чём-то более, гораздо более великом и простом, постичь которое мне никак не удаётся.

Темнота, как и жизнь, пока в ней находишься, необъятна и неопределима — знакомые наизусть стены как бы исчезают — они есть, чтоб на них не наткнуться, их нет, потому что их не касаешься.

Бродить по ночной, вернее, предутренней квартире — ни с чем не сравнимое счастье! Нет будто ни тебя самой, ни внешнего мира, в который на несколько часов погрузишься позже — с искусственным ламповым светом или с естественным законным рассветом — тоже, как

известно, вторичным, тварным, созданным только в день третий.

Нет ни тела твоего, ни окружающего его здешнего мира. Только ты — как некая светящаяся сама для себя точка движешься, прямо иль огибая нежелательные тебе места, по одной тебе известному пути, в котором исчезает даже ощущение пространства.

Одно условие такого счастья — вещей и людей в доме должен быть минимум и все они должны стоять-лежать-висеть по своим местам. Во всём должна быть красота — покой, порядок, польза, рассуждение.

Свечу я зажигаю, когда всё уж готово. Я умыта, одета, причёсана. На голове моей — «плат узорный до бровей» — точнее, шёлкового шифона, тёмно-синий по красному золоту.

При непокрытой голове молитва легче, но бесполезней. Она воздушна, более радостна и иллюзорна, войти в мякоть сердца ей не достанет ни сил, ни терпения. Она упорхнёт тут же, едва коснётся летучего ума, чтоб вместе с ним нестись, блуждать, резвиться в любимых уму сладостных местах, весёлому, вольному.

А сердце останется, как было — тёмным, кровавым, тяжёлым.

Церковная свеча отлична от мирской так же, как свет от тьмы — не темноты! — как жизнь от

смерти. Это не значит, что мирская свеча это тьма и смерть — просто духовно она бесплодна — хотя плотскому сердцу плотскую же радость может приносить.

Такая нам дана здесь свобода — каждый сам решает — какой плод ему нужен.

Сама по себе церковная свеча тоже не свет и не жизнь. Она так же, как мирская, может стать предметом самообольщения. Сущность в вере. Если я верую, что коснувшийся свечи в храме Божиим Дух Святой пребывает на ней доселе, значит, так оно и есть.

Что же — если не верую, значит, и нет? Не значит. Каждый должен заниматься своим делом. Не моё дело рассуждать, где Дух Святой есть, а где нет Его, без которого быть ничего не может.

Моё дело — вера в то, что Он, самое таинственное Лицо Пресвятой Троицы, вездесущ и по моей вере может, хоть и не обязан, пребывать в моей свече — и Он пребывает в моей свече по моей вере, пока я верую.

А вера — самая сильная сила этого мира.

Да мне и некогда попусту рассуждать. Это несуществующее для неверующих людей или напротив — обожествляемое ими, время, которое дар Божий и внутри которого мы здесь живём, как Божьи дети в Его колыбели, так коротко и непрочно и становится всё короче.

Часы уж пробили половину пятого. До шести мне надо успеть при свече прочесть по две главы из Евангелия и Апостола, одну кафизму из Псалтири и всё другое необходимое.

Ровно в шесть на свой участок выходит новый, такой жадный до своей очистительной работы дворник. Мне кажется — со своей свечой я перед ним как на ладони...

Хандра (дневник)

...Зачем-то принесло меня сюда, в этот городок, в этот двор.

И все последние тридцать лет несёт, а точнее, ведёт — точно конь в поводу, по кругу хожу. Работа — дом — гараж — жена — дети — внуки. Зимой охота — летом рыбалка — тайга — река — море — турпоездки по разным странам.

И дальше всё вперёд не на один век кем-то для меня расписано. И это хорошо и правильно — ни резких перемен, ни взрывов, ни обвалов я никогда не хотел — сознательно и спокойно не любил, разумно, обстоятельно.

И этой весной не хотел. Только вдруг, ни с того ни с сего — трудовую книжку на руки получил — и будто кол какой в горле встал. Аж дыхание перехватило — да, не хочу.

Ничего больше вообще не хочу!

О пенсионерской должности на ГРЭСе ради новой тачки сыну или побрякушек дочери начальство умолять — не хочу! Всем необходимым для жизни обеспечил — дальше сами, вперёд!

Ради Гоа или Шри-Ланки? Или новой шубы для жены? Соболя и чернобурки ей мало, норка такая, потом сякая, каракульча афганская, тоскана итальянская — предела нет.

В доме зиму сидеть? В телевизор глядеть? Гвозди с места на место перебивать? Ковры еженедельно выбивать? В очередное путешествие на мир поглазеть? Можно на охоту к друзьям — к Байкалу или на Ямал. Не хочу.

Не хочу ничего такого, что было и есть. Ни бывшего, ни нового. Ни разрешённого, ни запретного. Даже прежней работы, которая, получается, и была единственной на всю жизнь, страстью, не хочу. Ничего не хочу. Чего надо, неизвестно. Хандра — как с весны подступила, так сушила всё лето.

А лето случилось холодное. И выехать никуда мочи нет. Жена испилила — мне хоть бы что. Хоть ножом меня режь — ничего не добьёшься — не сдвинешь — ничего не хочу, никого мне не надо.

Можно бы запить, да знаю — толку не будет. Не действует на меня алкоголь — сколько ни приму — ничего не чувствую: ни веселья, ни злобы — какой был, такой есть, пока не упаду замертво.

И вот еду как-то рано утром, смотрю — дворник стоит. Просто мужик какой-то средних лет, в штормовочке камуфляжной ветхонькой, кепчонке такой же. В одной руке метла, в другой сигаретка.

Так знатно этот дворник стоял — у жёлтого клёна, на зелёной траве. Так он смотрел куда-то — что вот всё ему нипочём, и никого он в упор не видит, и никому ничего не должен!

Никому! Ничего! Давно уж не должен! Только так!

Я и подумал — а мне бы тоже!

Такой вот экстрим.

Ладно. Санитарное время закончилось. Шесть ноль-ноль. Приступаем.

Снегу за ночь подсыпало сантиметров пять. Пройдём все шесть тротуаров от мостовой к подъездам с метлой — разметём посередине, чтоб снег не притоптался, как люди на работу пойдут. То же самое — на мостовой вдоль дома — посередине, в ширину малой раздвижки — сделаем метровый проход по всей длине.

Дальше рядовуха — бери больше, кидай дальше. Сначала снег на мостовой, по следу малой раздвижки, по всей длине дома раздвинем, потом большой раздвигой на половину — по два метра — к дому и к скверу. Потом лопатой скидаем его за поребрики — в газоны и по краю сквера. Осталось шесть тротуаров разместить, снег с них сбросать в

газоны и отмостки вокруг дома расчистить. Девять утра. Всё.

Да не всё. Снег в наших северных краях может сыпать сутками, налипать и вдавливаясь в тротуары и дорогу словно пластилин. Отковыривать его — такая длинная песня, что петь её можно тоже сутками.

Частые с самого начала зимы оттепели и сухие морозы за ними дают на тротуарах такой каменный лёд, что пенсионерский зарок не материться с первым взмахом лома разбивается вдребезги. Но не лёд. Лёд остается, лепится валом к валу, забивается в каждую щербину, отходит от асфальта микроскопическим брызгами.

Дворницкий участок идеальным быть в принципе не может. А я привык к идеальности. Значит, должен быть идеальным! Должен быть порядок, точность, чистота — контакты зачищены, кабеля и провода заизолированы, напряжение, сила тока и сопротивление в норме.

В норме ли я сам? Вопрос. Свежий воздух. Физический труд. Хандра не ушла. Она будто застыла во мне и ждёт чего-то.

Как в притихшую топку бросаю в неё комья ноябрьского снега и льда — шипит, огрызается из горячего пепла, смачно, с угрозами — зарывается в него глубже и ноет, ноет оттуда всё про своё — зачем жил, зачем живёшь, зачем, наконец, в эти

дворники попёрся?

Нужны тебе эти дворницкие гроши или чтобы знакомые раньше приличные люди теперь на тебя как на посторонний мусор, не узнавая, мимоходом смотрели? Самому себе хоть ответь.

Это экстрим, да, которого не предполагал.

Но есть ещё экстримнее.

Есть такое, ради которого и вытащил я эту коричневую дермантиновую тетрадку о сорока восьми листах из дальнего шкафа в гараже.

Доставал я её по жизни редко — когда молодость ненароком вспомнится, в которой всё так просто и одновременно так запутанно было. И сейчас достал — может, поможет совсем не запутаться, а путаться ведь явно начинаю.

Потому что совершенно утихает моя хандра, когда я на ту женщину из оранжевого окна смотрю — такая тишина меня и покой обволакивают — что вот замер бы на месте и никуда дальше не двигался!

Просто оживлённый фетишизм какой-то!

Да ведь и страшно — понятно же, что для тебя подразумевается за тишиной и покоем, когда тебе уже шестьдесят — дорога туда единственная — и ведь манит за собой это обездвижение — тащит буквально!

Сначала я ничего даже не понял — ну, увидел один раз, полюбовался, ладно. Но на другой вечер я опять на ту скамейку под ёлкой попёрся!

Машину в начале двора поставил, на скамейке посидел, посмотрел — и все проблемы как-то ушли, покой да благодать такие на душе разлились, что замереть и остаться здесь навеки хочется! Просто ерунда какая-то, мягко говоря!

Всё, конечно, в жизни бывало, хоть и не через край. Женился поздно, спокойно, без всяких страстей. Потом, если флирт как фарт случался, то очень осторожно, по пальцам одной руки пересчитать можно. Но теперь ничего такого, ни флирта, ни фарта, ни в голову, ни в печёнки не идёт! Долго не мог понять, чем именно меня зацепило.

И вот иду вскоре по городку, буквально — от дверей магазина до машины метров двадцать — и женщина впереди нарисовалась.

Скорее маленькая, чем крупная — каблучки по тротуару, как положено — цок-цок. Юбка до щиколотки — скромная, тёмно-серая в светло-серую клетку, хотя как-то вся какими-то движущимися воланами вокруг бёдер перекручена — чёрный кашемировый жакетик в тонкую талию, воротник из какого-то простенького меха вокруг шеи искрится, шляпка чёрная фетровая строгой полусферой — идёт — я за ней.

Зачем иду, не знаю, и почему глаз не могу оторвать, не думаю.

Иду! Машину свою давно уже миновал.